

Виктор Петрович
АСТАФЬЕВ
1924–2001

Виктор
АСТАФЬЕВ

Прокляты и убиты

Роман



Санкт-Петербург

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)6-44
А 91

Серийное оформление Вадима Пожидаева

Оформление обложки Валерия Гореликова

В оформлении обложки использован фрагмент картины
Константина Васильева «Тоска по родине»

ISBN 978-5-389-12681-7

© В. П. Астафьев (наследники), 2018
© К. А. Васильев (наследник),
иллюстрация на обложке, 2018
© Оформление.
ООО «Издательская Группа
„Азбука-Аттикус“», 2017
Издательство АЗБУКА®

Книга первая

Чертова яма

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом.

Святой апостол Павел

Глава первая

Поезд мерзло хрустнул, сжался, взвизгнул и, как бы изнемогши в долгом непрерывном беге, скрипя, постреливая, начал распускаться всем тяжелым железом. Под колесами щелкала мерзлая галька, на рельсы оседала белая пыль, на всем железе и на вагонах, до самых окон, налип серый, зябкий бус, и весь поезд, словно бы из запредельных далей прибывший, съезжился от усталости и стужи.

Вокруг поезда, спереди и сзади, тоже зябко. Недвижным туманом окутано было пространство, в котором остановился поезд. Небо и земля едва угадывались. Их смешало и соединило стылым мороком. На всем, на всем, что было и не было вокруг, царило беспросветное отчуждение, неземная пустынность, в которой царапалась слабеющей лапой, источившимся когтем неведомая, дух испускающая тварь, да резко пронзало оцепенелую мглу краткими щелчками и старческим хрустом, похожим на остатный чахоточный кашель, переходящий в чуть слышный шелест отлетающей души.

Так мог звучать зимний, морозом скованный лес, дышащий в себе, боящийся лишнего, неосторожного движения, глубокого вдоха и выдоха, от которого может разорваться древесная плоть до самой сердцевины. Ветви, хвоя, зеленые лапки, от холода острые, хрупкие, сами собой отмирая, падали и падали, засоряли лесной снег, по пути цепляясь за все встречные родные ветви, превращались в никому не нужный хлам, в деревянное крошево, годное лишь на строительство муравейников и гнезд тяжелым, черным птицам.

Но лес нигде не проглядывался, не проступал, лишь угадывался в том месте, где морозная наволочь была особенно густа, особенно непроглядна. Оттуда накатывала едва ощутимая волна, покойное дыхание настойчивой жизни, несогласие с омертвелым покоем, сковавшим Божий мир. Оттуда, именно оттуда, где угадывался лес и что-то еще там дышало, из серого пространства, слышался словно бы на исходном дыхании испускаемый вой. Он ширился, нарастал, заполнял собою отдаленную землю, скрытое небо, все явственней обозначаясь пронзающей сердце мелодией. Из туманного мира, с небес, не иначе, тот отдаленно звучащий вой едва проникал в душевные, сыро парящие вагоны, но галдевшие, похохатывающие, храпящие, поющие новобранцы постепенно стихали, вслушивались во все нарастающий звук, неумолимо надвигающийся непрерывный звук.

Лешка Шестаков, угревшийся на верхней, багажной, полке, недоверчиво сдвинул шапку с уха: во вселенском вое или стоне проступали шаги, грохот огромного строя — сразу перестало стрелять в зубы от железа, все еще секущегося на трескучем морозе, спину скоробило страхом, жутью, знобящим восторгом. Не сразу, не вдруг новобранцы поняли, что там, за стенами вагона, туманный мерзлый мир не воет, он поет.

Когда новобранцев выгоняли из вагонов какие-то равнодушно-злые люди в ношеной военной форме и выстраивали их подле поезда, обляпанного белым, разбивали на десятки, затем приказали следовать за ними, новобранцы все вертели головами, стараясь понять: где поют? кто поет? почему поют?

Лишь приблизившись к сосновому лесу, осадившему теплыми вершинами зимний туман, сперва черно, затем зелено засветившемуся в сером недвижимом мире, новобранцы увидели со всех сторон из непроглядной мглы накатывающие под сень сосняков, устало качающиеся на ходу людские волны, соединенные в ряды, в сомкнутые колонны. Шатким строем шагающие люди не по своей воле и охоте исторгали ртами белый пар, вослед которому вылетал тот самый жуткий вой, складываясь в медленные, протяжные звуки и слова, которые скорее угадывались, но не раз-

личались: «Шли по степи полки со славой громкой», «Раз-два-три, Маруся, скоро я к тебе вернуся», «Чайка смело пролетела над седой волной», «Ой да вспомним, братцы вы кубанцы, двадцать перво сентября», «Эх, тачанка-полтавчанка — все четыре колеса-а-а-а».

Знакомые по школе нехитрые слова песен, исторгаемые шершавыми, простуженными глотками, еще более стискивали и без того сжавшееся сердце. Безвестность, недобрые предчувствия и этот вот хриплый ор под грохот мерзлой солдатской обуви. Но под сенью соснового леса звук грозных шагов гасило размиганным песком, сомкнутыми кронами вершин, собирало воедино, объединяло и смягчало человеческие голоса. Песни звучали бодрее, звонче, может, еще и оттого, что роты, возвращающиеся с изнурительных военных занятий, приближались к казармам, к теплу и отдыху.

И вдруг дужкой железного замка захлестнуло сердце: «Вставай, страна огромная! Вставай на смертный бой...» — грозная поступь заняла даль и близь, она властвовала над всем остывшим, покорившимся миром, гасила, снимала все другие, слабые звуки, все другие песни, и треск деревьев, и скрип полозницы, и далекие гудки паровозов — только грохочущий, все нарастающий тупой шаг накатывал со всех сторон и вроде бы даже с неба, спаянного с землею звенящей стужей. Разрозненно бредущие новобранцы, сами того не заметив, соединились в строй, начали хлопать обувь по растоптанной, смешанной со снегом песчаной дороге в лад грозной той песни, и чудилось им: во вдавленных каблуками ямках светилась не размигканная брусника, но вражеская кровь.

Солдаты, угрюмо несущие на плечах и загорбках винтовки, станки и стволы пулеметов, плиты минометов, за ветви задевающие и снег роняющие пэтээры с нашлепками на концах, похожими на сгнившие черепа диковинных птиц, шли вроде бы не с занятий, на бой они шли, на кровавую битву, и не устало бредущее по сосняку войско всаживало в колеблющийся песок стоптанные каблуки старой обуви, а люди, полные мощи и гнева, с лицами, обожженными не стужей, а пламенем битв, и веяло от них великой силой, которую не понять, не объяснить, лишь почувст-

воватъ возможно и сразу подобраться в себе, ощутив свое присутствие в этом грозном мире, повелевающем тобою, все уже трын-трава на этом свете, все далеко-далеко, даже и твоя собственная жизнь.

И когда новобранцев ввели в полутемный подвал, где вместо пола на песок были набросаны сосновые искропившиеся лапы, велели располагаться на нарах из сосновых неокоренных бревешек, чуть стесанных с той стороны, на которую надо было ложиться, в Лешке все не смолкало, все надломленно-грозно произносилось: «Вставай на смертный бой...» Покорность судьбе овладела им. Сам по себе он уже ничего не значит, себе не принадлежит — есть дела и вещи важнее и выше его махонькой персоны. Есть буря, есть поток, в которые он вовлечен, и шагать ему, и петь, и воевать, может, и умереть на фронте придется вместе с этой все захлестнувшей усталой массой, изрыгающей песню-заклинание, призывающей на смертный бой одной мощной грудью страны, над которой морозно, сумрачно навис морок. Где, когда, как выйдешь из него один-то? Только строем, только рекой, половодьем возможно прорваться к краю света, к какой-то совсем иной жизни, наполненной тем смыслом и делом, что сейчас вот непригодны, да и неважны, но ради которой веки вечные жертвовали собой и умирали люди по всей большой земле.

Душу Лешки посетил то, что должно поселиться в казарме и в тюрьме, — вялое согласие со всем происходящим, и когда его назначили в первый наряд: топить печь в казарме сырыми сосновыми дровами — он воспринял это назначение без сопротивления. Выслушав наказ: не спать, не спалить карантин, следить, чтоб новобранцы ходили по нужде подалее в лес, бить палкой тех, кто вздумает мочиться в казарме, шариться по котомкам или, тем паче, пить горючку, — он покорно повторил приказание и громче повторил слова старшего сержанта Яшкина, что, если кто нарушит, с тем разговор будет особый.

У сержанта к рукаву шинели была привязана повязка, какие нацепляют людям, стоящим в почетном карауле. Он и назвался старшим караула по карантину. Яшкин уже побывал на фронте, имел орден, в запасном полку он оказался после госпиталя, с маршевой ротой вот-вот снова

уйдет на передовую из этой чертовой ямы, чтоб она пропала, провалилась, сгорела в одночасье — так заявил он.

Был Яшкин малоросл, худ, зол. Борода у него почти не росла, реденько торчало что-то на прогнутых непробритых санках челюсти, да сорно лепилась редкая поросль под носом, глаза желтые, унылые, кожа под ними мелко сморщенная, на лбу тоже желта. Он грелся, налегши грудью на печку, толсто заваленную перекаленным песком, ежился спиной, со щенячьим скулежом втягивал воздух, спрашивал табаку, хлеба, сала. Табак у Лешки хороший, хлеба еще маленько было, сала не велось. Лешка кивнул на толстобрюхие сидора угрюмых людей из старообрядческих таежных краев, обнимавших те сидора обеими руками, будто богоданную бабу, — эти асмодеи не обеднеют, если поделятся припасами.

Яшкин прошелся по карантину, обшарил кошачьими глазами лепившихся на нарах новобранцев — многие уже спали, блатняки из золотишных забоев Байкита, Верх-Енисейска, с Тыра-Понта, как они говорили о других, секретных районах, сложив ноги калачом, сидели кругом, резались в карты. Один картежник пребывал уже в кальсонах, проиграв с себя все остальное, и, оттесненный за круг, тянул шею, издавая давал игрокам советы и указания: чем бить, каким козырем крыть. В темном, дальнем углу карантинной казармы, которую в двух концах освещали две первобытные сальные плашки да лениво горящая чугунная печка без дверец, на краю нар лепились тесно, будто ласточки на проводах, уже неделю назад прибывшие новобранцы и терпеливо ждали своего часа. Яшкин знал, чего они ждали, прошелся по рядам упреждающим взглядом, но его в полутьме словно бы даже и не заметили.

На нижних нарах, в притемненной глубине, кто-то молился: «Боже милостив, Боже правый, избави меня от лукавого и от соблазна всякого...»

— Отставить! — на всякий случай приказал Яшкин и последовал дальше, отпуская замечания тем, кто чего-то не так и не то делал.

Поскольку все население карантина ничего не делало, то и замечания скоро иссякли.

Яшкин вернулся к штабному месту, к печке, назначив по пути две команды пилить и колоть дрова на улице, сам

опять устроился на чурбаке против квадратно прорубленного горячего отверстия, снова распахнул руки, приблизил к печке грудь, вбирал тепло, все не согреваясь от него.

В казарме было не совсем тепло и не совсем холодно, как и бывает в глубоком земляном подвале. Печка лишь оживляла зажатую в подземелье, тусклую жизнь со спертым, неподвижным воздухом глухого помещения, да и то изблизья лишь оживляла. По обе стороны печи жердье нар было закопчено, но на торцах, упрямо белеющих костями, как бы уже побывавшими в могиле, выступала сера. Чуть слышный запах этой серы да слежавшейся хвои на нарах — вместо постели тоже настелены жесткие ветки — разбавляли запахи гнили, праха и острой молодой мочи.

Старообрядцы, уткнувшись смятыми бородами друг в дружку, что-то побубнили, посоветовались, и один из них, здоровенный, в нелепом картузе без козырька, состроенном в три этажа, пригибаясь, подошел к печи и положил на колени Яшкина круглый каравай хлеба с орехово темнеющей коркой, кусок вареного мяса, две луковицы, берестяную зобенку с солью, сделанную в виде пенала. Яшкин достал из кармана складник, отрезал горбушку хлеба себе, подумал, отрезал еще ломоть и, назвав фамилию — Зеленцов, — сунул в тут же возникшие руки хлеб, комок мяса и принялся чистить луковицу.

— Сохатина! — раздался голос Зеленцова с нар, скоро и сам он сполз вниз, приняхался широкими, будто драчными ноздрями, зыркнул маленькими, но быстро все выхватывающими глазами и потребовал у гостя закурить.

— Некурящие мы, — потупился старообрядец.

— И непьющие?

— По святым праздникам коды. Пива...

Лешка протянул кисет Зеленцову, тот закурил, взвесил кисет на руке и, не спросив, отсыпал в горсть табаку. Яшкин неторопливо, безразлично жевал, двигая скобками санок, ловко, издаля кидая пластины нарезанной луковицы в узкий, простудой обметанный рот. Поел, поискал кого-то глазами, дернул за ноги с верхних нар двоих храпящих новобранцев, велел принести воды. Сверху грохнулись два тела. «Чё мы да мы?» — заныли парни и, брякая посудиною, удалились. Дверь казармы тяжело отворилась,

сделалось слышно ширканье пилы, в казарму донесло стылую, сладкую струю воздуха. Все время, пока в железном баке на жерди, продернутой в дужку, не принесли воду, в дверь свежо тянуло, выше притвора далеко, недостижимо серела узкая полоска ночного света.

Бак, ведра на три объемом, был поставлен на печку, в печке зашипело. К воде потянулись жаждающие с кружками, котелками, банками. Дежурные не то в шутку, не то всерьез требовали за воду хлеба и табаку. Кто давал, кто нет. Дежурные тоже начали жевать и, получив от кого-то плату картошкой, закатали ее ближе к трубе, в горячий песок. В помещении запахло живым духом, забившим кислотину и вонь.

На запах картошки из темных недр казармы являлся народ, облепляя печку, накатывал от себя картошек, будто булыжником замостив плоское пространство чугунок, не имеющей дна и дверки, наполовину уже огрузшей в песок.

— Па-аа-абереги-ы-ы-ысь! — послышалось в казарме, и от двери, весело брякая, покатались рыжие чурки, было еще принесено несколько охапок колотого сухого сосняка, может, и какой другой лесины, уведенной откуда-нито находчивыми пыльщиками.

Яшкин отодвинулся от устья печки, в дыру натолкали поленья, да так щедро, что торцы их торчали наружу. Печка подумала-подумала, пощелкала, постреляла да и занялась, загудела благодарно, замалинилась с боков. Народ, со всех сторон родственно ее объяввший, ел картошку, расспрашивал, кто откуда, грелся и сушился, вникал в новое положение, радовался землякам-одnodворцам и просто землякам, еще не ведая, что уже как бы внял времени, в котором родство и землячество будут цениться превыше всех текущих явлений жизни, но паче всего, цепче всего укрепятся и будут царить они там, в неведомых еще, но неизбежных фронтовых даях.

Старообрядец в знатном картузе назвался Колей Рындиным, из деревни Верхний Кужебар Каратузского района, что стоит на берегу реки Амыл — притоке Енисея. В семье Рындиных он, Коля, пятый, всего же детей в доме двенадцать, родни и вовсе не перечеть.

Над Колей начали подтрунивать, он добродушно улыбался, обнажая крупные зубы, тоже пытался шутить, но, когда к печке подлез парнишка в латаной телогрейке, из которой торчала к тонкой шее прикрепленная голова, и выхватил с печи картофелину, Коля ту картофелину решительно отнял.

— Я ж тебе, парнишша, говорил: покуль от еды воздержись, от картошки, да еще недопеченной, разнесет тебя ажник на семь метров против ветру... — Коля приостановился и гоготнул: — Не шшытая брызгов! — И далее серьезно, как политрук, повел мораль: — Понос — штука переходчивая, а тут барак, опчество — перезаразишь народ. — Он достал из своего сидора желтый холщовый мешочек, насыпал в кружку горсть серой смеси, поставил посудину на уголья и назидательно добавил: — Скипятится, и пей — как рукой сымет.

Весь народ и сержант Яшкин тоже с интересом уставились на старообрядца.

— Что это? Что за лекарство? — расспрашивал народ, потому что не одному Петьке Мусикову — так звали парнишку-дристуна — требовалась медицинская подмога: дорогой новобранцы покупали и ели что попадя, напились сырого молока, воды всякой, вот и крутило у них животы.

— Сушеная черемуховая кора с ягодой черемухи, кровохлебка, змеевик, марьин корень и ешшо разное чего из лесного разнотравья, все это сушеное, толченое лечебное свойство освящено и ошоптано баушкой Секлетиньей — лекарем и колдуном, по всему Амылу известным. Хотя тайга наша богата умным людом, но против баушки... — Коля Рындин значительно взнял палец к потолку. — Она те не то что понос, она хоть грыжу, хоть изжогу, хоть рожу — все-все вплоть до туберкулеза заговорит. И ишшо брюхо терет.

— Брюхо-то зачем? Кому? — веселя, уже дружелюбно спросил Колю Рындина старший сержант Яшкин.

— Кому-кому! Не мне жа! Жэншынам, конечно, что-бы ребеночка извести, коли не нужен.

Народ сдержанно хохотнул, раздвинулся, уступая Коле Рындину место подле главного командира — Яшкина. Петьку Мусикова и еще каких-то дохлых парней почти

силком напоили горячим настоем. Петьке сухарей кто-то дал, он ими по-собачьи громко хрустел. Тем временем картежники подняли драку. Яшкин, взяв Зеленцова и еще одного парня покрепче, ходил усмирять бунтовщиков.

— Если не уймется, на мороз выгоню! — фальцетом звучал Яшкин. — Дрова пилить!

— Я б твою маму, генерал...

— Маму евоную не трожь, она у него целка.

— Х-хэ! Семерых родила и все целкой была!..

— Одного она родила, но зато фартового, гы-гы!..

— Сказал, выгоню!

— Кто это выгонит? Кто? Уж не ты ли, глиста в обмороке?

— Молчать!

— Стирки¹ не трожь, генерал! Пасть порву!

— У пасти хозяин есть.

— Сти-ырки не рви, пас-скуда!

Из-под навеса нар на Яшкина метнулся до пояса раздетый, весь в наколах блатной и тут же, взлаяв, осел на замусоренный лапник. Яшкин, вывернув нож, погнал блатного пинками на улицу. Лешка, Зеленцов, дежурные с помощниками двоих деляг сдернули с нар и заголившимися спинами тащили волоком по занозистым, искрошенным сучкам и тоже за дверь выбросили — охладиться. Зеленцов вернулся к печке с ножиком в руках, поглядел на кровоточащую ладонь, вытер ее о телогрейку, присыпал пеплом из печи, зажал и, оскалившись редкими, выболевшими зубами, негромко, но внятно сказал в пространство казармы:

— Шухер еще раз подымете, тем же фонарем...

Блатняки утихли, казарма присмирела. Коля Рындин опасно поозирался и с уважением воззрился на Зеленцова, на Яшкина: вот так орлы — блатняков с ножами не испугались! Это какие же люди ему встретились! Ну, Зеленцов, видать, ходовой парень, повидал свету, а этот, командир-то, парнишка парнишкой, хворый с виду, а на нож идет глазом не моргая — вот что значит боец! Поближе надо к этим ребятам держаться, оборонят в случае чего. Зеленцов уютно приосел на корточки, покурил еще, позе-

¹ Карты.

вал, поплевал в песок и полез на нары. Скоро вся казарма погрузилась в сон.

Яшкин приспустил буденновский шлем, на подбородке застегнул его, поднял мятый воротник шинели, засунул руки в рукава, прилег в ногах новобранцев, на торцы нар, спиной к печи, и тут же запоскрипывал носом, вроде бы как обиженно.

— Хворат товарищ сержант, — заключил Коля Рындин и, посидев, добавил, обращаясь к Лешке: — Я те помогать стану, дежурить помогать. Чё вот от желтухи примать? Какую траву? Баушка Секлетинья сказывала, да не запомнил, балбес.

— Да он с фронта желтый, со зла и перепугу.

— Да но-о!

Дежурные до утра не продержались. Лешка, привалившись к столбу нар, долго боролся со сном, клевал носом, качался и наконец сдался: обхватив столб, прижался к шершавой коре щекою, приосел обмякшим телом, ровно дыша, поплыл в родные обские просторы. Коля Рындин сидел-сидел на чурбаке и замедленно, словно бы тормозя себя в полете, свалился на засоренный окурками теплый песок, на ощупь подкатил чурку под голову, насадил глубже картуз — и казарму сотряс такой мощный храп, что где-то в глубине помещения проснулся новобранец и жалким голосом спросил:

— О-ой, мама! Чё это такое? Где я?

Утром карантин плакал, стонал, матерился, исходил истерическими криками — все пухлые мешки новобранцев были порезаны, содержимое их ополовинено, где и до крошки вынуто. Блатняки реготали, чесали пузо, какие-то юркие парни шныряли по казарме, отыскивая воров, одаривая оплеухами встречных-поперечных. Вдали матерился Яшкин: несмотря на его приказ и запрет, нассано было возле нар, подле дверей, в песке сплошь белели солью свежие лунки. Запах конюшни прочно наполнил подвал, хотя сержант и распахнул настежь тесовую дверь, в которую виден сделался квадрат осветленного пространства.

Яшкин пытался выдворить народ на улицу на умывание, несколько человек, среди них и Лешка Шестаков, вышли и нигде никаких умывальников или хоть какой-

нибудь воды не нашли. В прореженном, стройном, или как его еще любовно называют — мачтовом, сосняке сплошь дымило. Из земли, точнее из бугров и бугорков, меж сосен горящихся, чуть припорошенных снегом, игрушечно торчали железные трубы. Под деревьями рядами стояли пять подвалов со всюду распахнутыми воротами-дверями, толсто белел куржак над входами — это и был карантин двадцать первого стрелкового полка, его преддверие, его привратье. Мелкие, одноместные и четырехместные, землянки принадлежали строевым офицерам, работникам хозслужб и просто придуркам в чинах, без которых ни одно советское предприятие, тем более военное подразделение, никогда не обходилось и обойтись не может.

Где-то далее по лесу были или должны быть казармы, клуб, санслужбы, столовая, бани, пекарни, конюшни и штаб полка, но карантин от всего этого отторжен на порядочное расстояние, чтоб новобранцы заразу какую в полк не занесли, чтоб в карантине прошли проверку, санобработку, баню, затем оформлены и распределены были по ротам. От бывалых людей, уже неделю, где и две ошивавшихся в карантине, Лешка узнал, что в баню их поведут ли, еще неизвестно, но вот в казармы, к месту, скоро определят — полк снарядил маршевые роты на фронт, и как только их отправят, очередной призыв, на этот раз ребята двадцать четвертого года заполнят казармы, начнется настоящая армейская жизнь. За три месяца молодняк пройдет боевую и политическую подготовку и тоже двинется на фронт — дела там шли не очень важно, перемалывались и перемалывались машиной войны полки, дивизии, армии, — фронту, как карантинной печке дрова, требовались непрерывные пополнения, чтобы поддерживать хоть какой-то живой огонь.

Пока же было приказано раздеться до пояса и мыться снегом. Но того, что зовется снегом, белого, рассыпчатого или нежно-пухового, здесь, возле Бердска, не было. Все вокруг испятнано мочой, всюду чернели застарелые коричневые и свежие желтенькие кучи, песок превращен в грязно-серое месиво, лишь подальше от землянок, под соснами, еще белелось, и из белого сквозь пленку снега светила красная брусника.

Лешка хотел было сунуться в отхожее место, огороженное жердями и покрытое тоже жердями, но вокруг этого помещения и в самом помещении, где было сколочено из жердей седалище с прорубленными в жердях дырками, так загажено, так вонько и скользко, что отнесло его далеко от карантинных казарм, тем более что возле землянок, помеченных трубами, люди в подштанниках, в сапогах махали руками, ругались и отгоняли народ подальше, хватаясь за поленья и палки.

Лешка отбежал так далеко, что в сосняке появился подлесок и под ним тонкий слой снега, мало тронутый и топтанный. За плотно сдвинувшимися вдали сосняками чудилась река. «Уж не Обь ли?» — подумал он с тоской и начал набирать в горсти снегу, соображая: высаживались на станции Бердск, вроде бы это недалеко от Новосибирска, на Оби же... «Ах ты, родимая же ты моя!» — вздрогнул губами Лешка и начал скорее тереть лицо снегом, не давая себе расчувствоваться и все же думая, какая она здесь, Обь-то. Широкая ли? Там, в низовьях, в его родных Шурышкарах, она, милая, летами как разольется — другого берега не видать, в море превращается, до самого Урала доходит с одной стороны, в надгорья упирается, если бы не хребет, дальше бы разлилась, как разливается бескрайно у правого берега по тундре, открывая устье вширь до такой большой воды, что и не знаешь, где Обская губа соединяется с морем, а море с нею.

Вспоминая родную северную местность, Лешка наскреб из-под снега горсть брусники и, услышав, что у землянок кличут людей, высыпав мерзлую ягоду в рот, поспешил к карантину. Там уже сбивалось что-то наподобие строя, только никак не могли выжить из подвала старообрядцев да каких-то еще больных или придуривающихся людей.

Подле каждой карантинной землянки колотилась, дрожала на утреннем холоду, присматриваясь и прислушиваясь к окружающей действительности, стайка плохо одетых, уже грязных парней с закопченными ликами. Они приплясывали, махали руками, кляли тех, кто прятался в казарме. Возникшие возле подвалов командиры в сером, сами тоже серые, сплошь костлявые, как щенят за шкуру, выбрасывали из землянок новобранцев.

Старообрядцы, пока не зашили мешки, из казармы не вышли. Начальник карантина, старший лейтенант в мятой, воробьиного цвета шинели с блестящими пуговицами, дождался, пока вызволят всех служивых из помещений, сбил старообрядцев в отдельную небольшую стайку и, обходя угрюмо насупившийся пестрый строй карантина, уделил правофланговым особое внимание:

— Пока не сожрете харчи, сидора оставлять на нарах... — (Старообрядцы уважительно глядели на светлые пуговицы и ремни командира. Что на брюхе ремень — они понимали, у них у самих опояски на брюхе, но вот еще зачем два ремня через плечи? Ежели б штаны держали, тогда понятно.) — Н-на нарах! — повторил старший лейтенант. — Назначайте своего дежурного, чтоб вас совсем не обшмонали. Остальным завтракать. Не все так богато запаслись провиантом? Не все?

Получив подтверждение, командир приказал вести людей в столовую, сказав на прощание: днями новичков распределят по казармам, там всякая вольница и разброд кончатся, наступят напряженные дни службы. Пока же всем бородатым бороды сбрить, всем волосатым волосы состричь, всем, у кого расстроены животы, кто простудился в пути, отправляться в санчасть, остальным заготавливать дрова, потому как приближаются настоящие сибирские морозы, после завтрака не бродить по расположению полка, в землянке будет политчас и личные знакомства с представителями строевых подразделений — с командирами рот и батальонов.

Следуя в столовую по расположению полка, с любопытством и тревогой смотрели новобранцы на строения военного городка, состоявшего все из тех же подвалов-казарм, только еще более длинных, плоских, не с одной, а с несколькими трубами и отдушинами, как в доподлинном овощехранилище, с двумя широкими раскатанными входами в подземелье, из которого медленно ползла или постоянно над входом плавала пелена испарений, даже на отдаленный взгляд нечистых, желтушных. От морока и сырости над входом в казармы намерз не куржак, а многослойная ребристая пленка, под нею темнела раскисшая,

большей частью уже развалившаяся лепнина ласточкиных гнезд. Среди этих отчужденно темнеющих казарм высилось вширь расплзшееся, в лес врубленное, никак не спланированное сооружение, еще не достроенное, с наполовину покрытой крышей и с невставленными окнами. Просторное и престранное помещение — если его распилить по-доль, то получилось бы два, может, и три барака, — будущая столовая полка. Чуть на отшибе, разбегшись по молоденькому сосняку, белела стайка тесовых и бревенчатых домов, огороженных продольным заборчиком из пиленых брусков. На домах и меж домов имелись щиты, на них лозунги, плакаты, портреты руководителей государства и армии. С крыши большого, тоже неуклюжего помещения, осевшего углами в песок и начавшего переламываться, сплошь облепленного плакатами, призывами, кинорекламой, звучало радио (клуб, смекнули новоприбывшие), а вокруг него все эти свежо желтеющие домики — штаб полка. Но догадались об этом не все. Старообрядцы и всякий таежный люд, коего среди новичков было большинство, глядели на штаб, точно праздные заморские путешественники на Венецию, суеверно притихнув, пытались угадать, откуда исходит музыка — с крыши какой или уж прямо с небес.

У парней посасывало в сердце, всем было тревожно оттого, что незнакомое все кругом, казенное, безрадостное, но и они, выросшие не в барской неге, по баракам, по деревенским избам да по хибарам городских предместий собранные, оторопели, когда их привели к месту кормежки. За длинными, грубо сколоченными из двух плах прилавками, прибитыми ко грязным столбам, прикрытыми сверху тесовыми корытами наподобие гробовых крышек, стояли военные люди, склоненные как бы в молитве, — потребляли пищу из алюминиевых мисок. Столы-прилавки тянулись длинными, надсаженно-прогнутыми рядами, упираясь одним концом в загаженный полуободранный лес, другим — в растоптанный пустырь, в этакое жидкое, никак не смерзающееся, растерзанное всполье военного городка, по которому деловито ходили вороны, чего-то вышаривали клювами в грязи, с криком отлетали из-под ног людей, на ходу заглатывающих пищу и одновременно сбивающихся среди грязи в тепеливый строй.

Крестьянского рода парни по им известным приметам усекли — среди леса не песок, а грязь оттого, что были здесь прежде огороды, может, и пашни. Меж столов и подле раздачи грязь вовсе глубока и вязка. Питающийся народ одной рукой потреблял пищу, другой цепко держался за доску стола, чтобы не соскользнуть в размешанную жижу, не вымочить ноги. Впереди день строевых и прочих занятий на сибирском, все круче припекающем морозе. Деловитый гул, прерываемый выкриками и руганью, ходил над обширной площадкой, называемой летней столовой, продлившейся до зимы. Звяк посуды, звон тазов, брэнчанье ковшиков о железо, выкрики типа: «Быстренько! Быстренько! Н-не задерживай очереди!», «Сколько можно прохладиться?», «Пораспустили пузы!», «Минометная рота! Минометная рота!», «Отойти от окошка, отоиди, сказано, не мешай работать!», «З-з-заканчивай прием пищи!», «Поговори у меня, поговори!», «А пайка где? Па-айку-у спе-орли-ы-ы!», «Взвод, на построение!», «Быстренько! Быстренько! Освободить столы!», «Жуете, как коровы! Пора закругляться!», «Э-эй, на раздаче, в рот вам пароход, в жопу баржу! Вы когда мухлевать перестанете? Когда обворовывать прекратите?», «А-атставить!», «Поторапливаемся! Поторапливаемся!», «Да сколько можно повторять? Сказано, значит, все!».

Мест здесь, как и во всех людских сборищах, как и везде в Стране Советов, не хватало. Люди толпились у раздачных окон кухни, хлебoreзки, заняв стол-прилавок, держали за ним оборону. Получив кашу в обширные банные тазы из черного железа, стопки скользких мисок, служивые с непривычки не знали, куда с ними притиснуться, где делить хлеб, сахар, есть варево.

«Сюда! Сюда! Эй, карантинные, сюда!» — послышалось наконец из-за крайних столов от лесу, и новобранцы, пытаясь обогнуть грязь, мешковато потрусили на зов. Пока не сложились команды, не разбились люди на десятки, карантинный контингент, еще не связанный расписаниеми, режимом, правилами, кормили в последнюю очередь, и насмотрелись, наслушались ребята всего. Вася Шевелев, успевший уже вдосталь «накомбайнериться» в колхозе, как он с усмешкой пояснил, глядя на здешние порядки,

покачал головой и с грустным выдохом внятно молвил: «И здесь бардак».

Возникали стычки, перекатно гремел мат, сновали во-ришки, больные, изможденные люди подбирали крошки, объедки со столов и под столами. Там, куда не доставала обувь стесанными подошвами, на ничейном месте, укрд-чиво выросшая, кучерявилась стылая мокрица, засорен-ная рыбьими костями.

Военный люд рассеялся, за столами сделалось про-сторно, однако никак не могли парни приспособиться од-новременнo есть и держаться за нечистые, обмерзлые пла-хи. Бывалые бойцы, уже одетые в новое обмундирование, на занятия не спешившие, позавтракав, облизав ложки и засунув их за обмотки иль в карманы, посмеивались над новичками, подавали им добродушные советы, просили закурить, которые постарше бойцы, значит, и подобрей, наказывали: боже упаси стоять в грязи меж столами или оплескаться похлебкой — сушиться негде, дело может кон-читься больницей, а больница здесь...

Покуривши, сделав оправку в лесу, со взводами и ро-тами уходили и эти мужики, а так хотелось еще с ни-ми поговорить, разузнать про здешнюю жизнь, да что же разузнавать-то, сами не слепые — видят все.

Снова наполнился сосновый сибирский лес строевыми песнями. Снова сцепило покорностью и всепоглощающей стужей зимнюю округу. Еще сильнее скрючило, сдавило там, внутри, у молодых парней, тяжкие предчувствия все-лял небольшой, не в братстве нажитый опыт: поздней осе-нью здесь будет еще хуже.

А раз так, скорее бы уж на фронт вслед за этими осно-вательными дяденьками, которые где уберегли бы от беды, где подсказали чего, где и поругали бы — уцелеешь, не уцелеешь в бою, не от тебя только одного зависит, на вой-не все делают одно дело, там все перед смертью равны, все одинаково подвержены выбору судьбы. Так близко и так далеко-далеко от истины были в этих простецких, бесхит-ростных думках только начавшие соприкасаться с армей-ской жизнью молодые служивые.

С новобранцев, которые были нестрижены, снимали волосье. Старообрядцы с волосами расставались трудно, однако стойчески, крестились, плакали, а потом хохотали друг над другом, не узнавая голые морды свои и товарищев; один старообрядец плакал особенно безутешно, даже и на обед не пошел. Закрывшись полами шабуров, каких-то лишь нашим людям известных тужурок, телогреек, пальто и им подобных одежд, водворив вместо подушки сидора под головы, ребята пробовали спать, однако день выдался суматошный, их то и дело сгоняли с нар, выдворяли из помещения, выстраивали, осматривали, переписывали, разбивали по командам, не велели никуда разбредаться, ждать велели, но чего ждать — не сказали. Уже тут, в полужилом подвале, на подступах к военной службе, парням внушалась многозначительность происходящего — веяние какой-то тайны, все тут насквозь пронзившей, должно было коснуться даже этого пока еще полоротого, разномастного служивого пролетариата.

Многозначительность, важность еще больше возросли, когда началась политбеседа. Не старый, но, как почти все здешние командиры, тощий, серый ликом, однако с зычным голосом капитан Мельников, при шпалах и ремнях, оглядел внесенную за ним двумя новобранцами в помещение треногу, пошатал ее для верности, прищипил к доске кнопками политическую изношенную карту мира с едва видными синенькими, желтыми, коричневыми и красными странами и материками, среди которых раскидисто малинилось самое большое на карте пятно — СССР, уверенно опоясавшее середину земли.

Одернув гимнастерку, причесавшись расческой, капитан Мельников продул ее, из-подо лба наблюдая за рассаживающимися по краям нар новобранцами, провел большими пальцами под ремнем, сгоняя глубокие, бабы складки на костисто выгнутую спину, сосредоточиваясь на мыслях, кашлянул, уже скользом оглядел публику, плотно рассевшуюся в проходе, но не вместившуюся ни на плахах, ни на нарах, по-куриному приосевшую на корточки спиной к коленям сидящих сзади, — сцепка людей была всеобщая, по казарме никто не смел бродить, курить тоже запрещалось.

— Наши доблестные войска, перемалывая превосходящие силы противника, ведут упорные кровопролитные бои на всех фронтах, — начал неторопливо, как бы взвешивая каждое слово, капитан Мельников. — Враг вышел к Волге, и здесь, на берегах великой русской реки, он найдет свою могилу, гибельную и окончательную...

Голос политотдельца, чем дальше он говорил, делался увереннее, напористей, вся его беседа была так убедительна, что удивляться только оставалось — как это немцы умудрились достичь Волги, когда по всем статьям все должно быть наоборот и доблестная Красная армия должна топтать вражеские поля, попирать и посрамлять фашистские твердыни. Недоразумение, да и только! Обман зрения. Напасть. Бьем врага отчаянно! Трудимся героически! Живем патриотически! Думаем, как вождь и главнокомандующий велит! Силы несметные! Порядки строгие! Едины мы и непобедимы!.. И вот на тебе — враг на Волге, под Москвой, под Ленинградом, половину страны и армии как корова языком слизнула, кто кого домалывает — попробуй разберись без пол-литры.

Однако слушать капитана Мельникова все одно хорошо. Пусть обман, пусть наваждение, блудословие, но все ж верить хочется. Закроешь глаза — и с помощью отца-политотдельца пространства такие покроешь, что и границу не заметишь, в чужой огород перемахнешь, в логове окажешься, и, главное дело, время битвы сокращается с каждой минутой. Что, как не поспеешь в логово-то? Доблестные войска до тебя домолотят врага? Тогда ты с сожалением, конечно, но и с облегчением в сердце вернешься домой, под родную крышу, к мамке и тятке.

Под звук уверенного голоса, под приятные такие слова забывались все потери, беды, похоронки, слезы женские, нары из жердинника, оторопь от летней столовой, смрад и угарный дым в казарме, теснящая сердце тоска. И дремалось же сладко под это словесное убаюкивание. Своды карантина огласил рокот — не иначе как камнепад начался над казармой, кирпичная труба рассыпалась и рухнула, покатила по тесовой крыше. Капитан Мельников и вся ему внимавшая публика обмерли в предчувствии гибели. Рокот нарастал.

— Встать!

Рокот оборвался. Все ужаленно вскочили. Коля Рындин, мостившийся на конце плахи, упал в песок на раздробленное сосновое месиво, шарился под нарами, отыскивая картуз, который он только что держал на коленях.

— Кто храпел?

Коля Рындин нашел картуз, вытряхнул из него песок, огляделся.

— Я, поди-ко.

— Вы почему спите на политзанятиях?

— Не знаю. — Коля Рындин подумал и пояснил: — Я завсегда, коль не занят работой, сплю.

Народ грохнул и окончательно проснулся. Капитан снисходительно улыбнулся, велел всем сесть, но нарушителю приказал стоять, пообещав, что как перейдет новоприбывшее войско на казарменное положение, так просто никому не спишется срыв важнейшего воспитательного предмета, каким являются политические занятия, такому вот моральному отщепенцу, храпуну, кроме своих прихотей ничего не уважающему, уделено будет особое, самое пристальное внимание. Коля Рындин напугался обличительных слов важного капитана, потому что быть моральным отщепенцем ему еще не доводилось, пнем горелым торчал среди полутемной казармы, на всякий случай пригнувшись под потолком, изо всех сил старался слушать политбеседу, но непобедимая дрема окутывала его, смягчала, уносила вдаль, качала-убаюкивала, и, боясь рухнуть наземь средь почтительной беседы, он принял меры безопасности.

— Ширяй меня под бок, если што, — шепнул он рядом сидящему парню.

— Чего, если что?

— Под бок ширяй, да пошибче, а то погибель.

Политбеседа закончилась обзором мировых событий, уверением, что не иначе как к исходу нынешнего года, но скорее всего по теплу союзники — Англия и Америка — откроют второй фронт, капитан попросил, чтоб бойцы показали на карте, где находится Англия, где располагается Америка. Нашлись два-три смельчака, отыскивали дальние страны союзников на карте. Коля Рындин, которому на-

конец-то позволили сесть, вытянул шею, глядел на деревянную указку, шепотом спрашивал:

— Какой оне веры?

— Бусурманской.

— Я так и думал. Потому оне и не отворяют другой фронт, чтобы мы надорвались, обессилели. Годы они нехристей на нас напустют.

Ребята, удивленно открыв рты, внимали Коле Рынди-ну. Капитан сворачивал карту в трубочку, удаленно глядел мимо разношерстных новобранцев, мучил заморенное сознание, сосредотачиваясь перед новой беседой — ему предстояло побывать во всех казармах карантина да еще провести, уже вечером, последнее, наставительное занятие с младшими командирами одного из маршевых батальонов. Работал капитан Мельников так много, так напряженно, главное, так политически целенаправленно, что ему не только пополнять свои куцые знания, но и выспаться некогда было. Он считал, что так оно и должно быть: сгорать на партийно-агитационной работе дотла во имя любимой Родины и героического советского народа — его назначение, иначе незачем было в армию идти, в политучилище маяться, которое он уже забыл, когда закончил, да и себя мало помнил, потому как себе не принадлежал, зато числился не только в полку, но и во всем Сибирском военном округе одним из самых опытных, пусть и слабообразованных политработников.

Карантинная жизнь густела и затягивалась. Маршевые роты отчего-то не отправлялись по назначению и не освобождали казармы. В карантинных землянках многолюдствие и теснота, драки, пьянки, воровство, карты, вонь, вши. Никакие дополнительные меры вроде внеочередных нарядов, лекций, бесед, попыток проводить занятия по военному делу не могли наладить порядок и дисциплину среди шатучего людского сброда. Давно раскурочены котомки старообрядцев и их боевых сподвижников, давно кончился табак, но курить-то охота и жрать охота. Промышляй, братва! Ночами пластаются котомки вновь прибывших, в землянках идет торг и товарообмен, в столовке под открытым небом кто пожрет два раза, кто ни разу. Лучше,

чем дома, чувствовали себя в карантине жулики, картежники, ворье, бывшие урки-арестанты. Они сбивались в артельки, союзно вели обираловку и грабеж, с наглым размахом, с неуязвимостью жировали в тесном, мрачном людском прибежище.

Были и такие, как Зеленцов, добычу вели особняком, жили по-звериному уединенно. Правда, для прикрытия Зеленцов сгрудил возле себя несколько бойких парнишек — двух бывших детдомовцев Хохлака и Фефелова, работяг Костю Уварова и Васю Шевелева, — за песни уважал и кормил Бабенко, не отгонял от себя Зеленцов и Лешку Шестакова, и Колю Рындина — пригодятся.

Хохлак и Фефелов — бывшие беспризорники, опытные щипачи — работали ночами, днем спали. Если их начинали будить и назначать в наряд, компания дружно защищала корешей, крича, что они всю ночь дежурили. Костя Уваров и Вася Шевелев ведали провиантом — занимали очереди в раздаточной, пекли на печи добытую картошку, свеклу, морковь, торговали, меняли вещи на хлеб и табак, где-то в лесных дебрях добывали самогонку. Лешка Шестаков и Коля Рындин пилили и таскали дрова, застилали искрошенный лапник на нарах свежими ветками, приносили воду, вырыли в отдалении и загородили вершинами сосняка персональный нужник. Лишь Петька Мусиков уединенно лежал в глубине нар, вздымаясь только по нужде и для принятия пищи. Зеленцов сидел на нарах, ноги колесом, руководил артелью, «держал место», наливал, отрезал, делил, насыпал, говоря, что с ним ребята не пропадут и что здесь припеваючи можно просидеть всю войну.

Однажды вечером новобранцам велели покинуть казармы. Мятые, завшивленные, кашляющие, не строем, разбродным стадом пришли они в расположение рот. Их долго держали на пронизывающем ветру. В потемках уже, под тусклыми пятнышками света, желтеющими над входами в казармы, туда-сюда бегали, суетились командиры, мерзло стуча сапогами, выкрикивали поименно своих бойцов, ругались, подавали команды. Важные лица до самой звездной ночи считали и проверяли маршевые роты в полном снаряжении, готовя их к отправке. Маршевики были

разных возрастов, ребятишкам-новобранцам, превратившимся в доходяг, обмундированные, подтянутые солдаты казались недоступными, они звали их дяденьками, раболепно заискивали перед старослужащими, делились табачишком, у кого остался. Невзирая на строгую военную тайну, маршевики уже знали и говорили, что направляют их на Сталинград, в дивизию Гуртьева, в самое пекло. Подточенные запасным полком, бледные, осунувшиеся, костистые, были бойцы угрюмы и малоразговорчивы, но табачок да землячество сближали их с ребятишками.

Ночь уже была, мороз набирал силу. Перемерзшие люди начали разводиться костерки, ломая на них пристройки, отдирая обшивку с тамбура казармы, наличники от дверей, мгновенно была разобрана и сожжена загорожа ротного нужника. Отобравши у новобранцев все, что было с ними из жалкого имущества, в карантин ребят не возвращали, а им уже раем казался душный темный подвал.

Поздней ночью поступила команда войти в расположение первой роты первого батальона сперва маршевикам, затем новобранцам.

Началась давка. В казарме, настывшей без людей, выветрился и живой дух. Вонько было от карболки и хлорки — успели уже провести дезинфекцию, повсюду на склизлый, хлябающий пол, настланный прямо на землю и сгнивший большей частью, был насыпан белый порошок, на нары, под нары, даже и вокруг громоздких небеленых печей, толсто облепленных глиной, слоем навален порошок. Мало стоит, видно, этот порошок, вот и навалили его без нормы — не жалко.

Маршевые роты смели рукавицами с нар порошок, заняли свое место. Ребятам-новобранцам велено было находиться в казарме, ждать отправки маршевиков и тогда уж располагаться на нарах. Известно, что солдат всегда солдат и была бы щель — везде пролезет, находчивость проявит. Так и не дождавшись никакого подходящего момента до самого утра, парни совались на нары к маршевикам, те их не пускали, ребятишки-то во вшах, уговаривали, урезонивали ребят, однако те упорно лезли и лезли в людскую гущу, в тепло. Тогда их начали спинывать, сшибать с нар, дубасить кулаками, страшать оружием.

Та злобная, беспощадная ночь запала в память как бред. Лешка Шестаков вместе с Гришей Хохлаком примазывался на нары, хотя бы нижние, хотя бы в ногах спящих, но маршевики молча их спиноывали не стоптанными еще жесткими ботинками на холодный пол. Один дядек все же не выдержал, в темноте проскрежетал: «Ат армия! Ат бардак! Да пустите парнишшонок на нары. Пустите. Черт с ними, со вшами! Чё нам, привыкать? До смерти не съедят».

Зеленцов чувствовал себя и здесь как дома. Он растопил печку какими-то щепками, обломками пола, когда к теплу потянулись доходяги, сказал, что подпускать к печи будет только тех вояк, которые с дровами. Затрещали половицы, облицовка нар, в проходе ступеньки хрустнули, скрежетали гвозди. Лешка с Хохлаком сходили на улицу, собрали возле давешних костерков куски досок, сосновые сучья, бодро грохнули беремце топлива к дверце печки. Зеленцов приблизил их к себе. «Главное, братва, не ложиться на пол, прежь всего боком не вались — простудите ливер», — увещевал он.

Парни держались героически. Печка постепенно и нехотя разгоралась, от нее поплыло волглое, глиной пахнущее, душное тепло. Перемерзлых ребят одного за другим валило на пол к сырому боку печи. Лешка с Хохлаком еще и еще ходили за дровами к карантину, к офицерским землянкам, где могли их и пристрелить. Коля Рындин приволок из тайги на плече долготьем сухостоину, положил ее концом на возвышение крыльца и, дико гакая, прыгая, крушил сосну ногами. Но и этого топлива не хватило до утра. Разогнавшись что паровоз, печка не знала устали, с гулом, аханьем пожирала жалкую древесную ломь, огненная ее пасть делалась все красней, все яростней и слопа-ла наконец, испепелила все топливо, пожрала силы бойцов. Они пали вокруг печки, будто на поле брани. Зеленцов, Бабенко и Фефелов, дождавшись бесчувственного сна войска, напослед очищали карманы и сидора маршевиков, но тем еще не выдали дорожный паек, личных вещей у них почти не осталось, издержались, проели, променяли всякое имущество дядьки за месяцы службы в запасном полку. С пяток ножей-складников, пару портсигаров да

несколько мундштуков и сотню-другую бумажных денег добыли мародеры и от разочарования, не иначе, тоже уснули, прижавшись спинами к подсохшему горячему боку печки.

Лешке тоже удалось притиснуться, и когда, как он от печки отслонился или его отслонили — не помнил. Наяву иль во сне мелькнуло, как его, вывалянного в порошке, пинали, загоняли куда-то. Не открывая глаз, он вскарабкался наверх и, нащупав твердое место, провалился в зябкого его окутавший сон.

Маршевую роту наутре все же подняли и отправили на станцию Бердск. Усатый старшина первой роты по фамилии Шпатор, жалея ребятишек, которые отныне поступали в его распоряжение, затаскивал их вместе с дежурным нарядом на нары. Когда отгрешились, отругались, пинками забивая служивых на спальные места, старшина, тяжело дыша, выдохнул:

— Н-ну, с этими вояками будет мне смех и горе!

Спальные места — трехъярусные нары с железными скобами в столбах. Посередке сдвоенных нар точно по шву шалашиком прибиты доски — изголовье, оно две службы сразу несло: спать как на подушке позволяло и отделяло повзводно спящих головами друг к другу людей — с той стороны второй взвод, с этой первый, не спутаешь при таком удобстве.

Половина мрачной, непродышливой казармы с выходом к лесу и к нужнику, с тремя ярусами нар — это и есть обиталище первой роты, состоящей из четырех взводов. Вторую половину казармы с выходом к другой такой же казарме занимала вторая рота, все вместе будет первый стрелковый батальон двадцать первого резервного стрелкового полка.

Плохо освещенная казарма казалась без конца, без края, вроде бы и без стен, из сырого леса строенная, она так и не просохла, прела, гнила, была всегда склизкой, плесневелой от многолюдного дыхания. Узкие, от сотворения своего не мытые оконца, напоминающие бойницы, излаженные меж землей и крышей, свинцовели днем и ночью одинаково мертво-лунным светом. Стекла при осадке в боль-

шинстве рам раздавило, отверстия были завалены сосновыми ветвями, на которых толстыми пластушинами лежал грязный снег. Четыре печи, не то голландки, не то просто так, без затей сложенные кирпичные кучи, похожие на мамонтов, вынутых из-под земли иль сослепу сюда нечаянно забредших, с одним отверстием — для дверцы — и броневым листом вместо плиты, загораживали проходы казармы. Главное достоинство этой отопительной системы было в тяге: короткие, объемистые, что у парохода, трубы, заглотив топливо, напрямую швыряли в небо тупыми отверстиями пламя, головешки, уголья, сорили искрами густо и жизнерадостно, чудилось, будто над казармами двадцать первого полка каждый вечер происходит праздничный фейерверк. Будь казармы сухими, не захороненными в снегу — давно бы выгореть военному городку подчистую. Но подвалы сии ни пламя, ни проклятье земное, ни силы небесные не брали, лишь время было для них губительно, — сопревая, они покорно оседали в песчаную почву со всем своим скудным скарбом, с копошащимся в них народом, точно зловещие гробы обреченно погружались в бездонные пучины.

Из осветительного имущества в казарме были четыре конюшенных фонаря с выбитыми стеклами, полки с жировыми площадками, прибитые к стене против каждого яруса нар, к стене же прислонен стеллаж — для оружия, в стеллаже том виднелись две-три пары всамделишных русских и финских винтовок, далее белели из досок вырубленные макеты. Как и настоящие винтовки, они пронумерованы и прикручены проволокой к стеллажу, чтоб не стащили на топливо.

Выход из казармы увенчан дощатыми, толсто обмерзшими воротами, к ним пристройки: по левую руку — каптерка ротного старшины Шпатора, зорко оберегающего необременительное ротное имущество, справа — комната дневальных с отдельной железной печью, подле которой всегда имелось топливо, потому как дежурка употреблялась для индивидуального осмотра контингента роты по форме двадцать, а также для свиданий с родными, которые отчего-то ни разу еще сюда не приезжали, ну и вообще для всяких разных нужд и надобностей.

Более ничего примечательного в этом помещении не было. Казарма есть казарма, тем более казарма советская, тем более военной поры, — это тебе не дом отдыха с его излишествами и предметами для интересного досуга. Тем более это не генеральские апартаменты — здесь все сухо, все на уровне современной пещеры, следовательно, и пещерной жизни, пещерного быта.

Лешка просыпался долго, еще дольше лежал, вслушивался в себя, привыкая к гулу, ко климату заведения, в котором ему предстояло жить и служить. С нар, с самого их верха — во куда во сне занесло! — ему был виден краешек продолговатой темной рамы. Стеклышки в ней искрошены и отчего-то не вынуты, так осколками и торчат, придавленные хвойной порослью — для тепла, догадался Лешка и отметил про себя: «Будто в берлоге», но смятения не испытал, только тупая покорность, в него вселившаяся еще с карантина, угнетала, и поверх этого томили еще два желания — хотелось до ветру и поесть.

Кто как, кто где спали ребята, которые проснулись, покуривали, переговаривались, подавленно глазели на окружающую действительность. Справа и слева от Лешки разместились компания Зеленцова. Широко распахнув рот, подобрав под шабур локтистые руки, спал, не давая себе разойтись в храпе, Коля Рындин. «Во дает...» — Лешка не успел докончить вялую мысль, как бодрый, почти веселый, не по-стариковски звонкий голос старшины Шпатора взвился в казарме:

— А, па-а-аадъе-омчик, служивые! Па-а-аадъе-оо-ом-чик! Па-адъем-чик! Служба начинается, спанье кончается! Будем к порядку привыкать, к дисциплиночке!

Да не шибко-то отреагировали на этот призыв служивые, мало кто шевельнулся. Старшина вынужден был кого-то дернуть за ногу:

— Тебе, родной, отдельную команду подавать, памаш? Тут вам не у мамки на печи! Тут армия, памаш.

В этот день прибывших из карантина новобранцев кормили разом завтраком и обедом, да еще и от маршевых рот, рано угнанных на станцию, хлебово в котлах осталось — наелись от пуза, повеселели молодые воины, ре-

СОДЕРЖАНИЕ

Книга первая. ЧЕРТОВА ЯМА	5
Книга вторая. ПЛАЦДАРМ	321
Комментарии	803

Астафьев В.

- А 91 Прокляты и убиты : роман / Виктор Астафьев. — СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2018. — 832 с. — (Азбука-классика).

ISBN 978-5-389-12681-7

В 1942 году восемнадцатилетним юношей Виктор Астафьев ушел добровольцем на фронт. Служил на передовой, перенес несколько тяжелых ранений, был награжден орденом Красной Звезды и медалью «За отвагу», демобилизовался в 1945 году в звании рядового.

Война, увиденная глазами простого солдата — одного из сотен тысяч, в нечеловеческих условиях ежедневно сражающихся со смертью, — центральная тема в творчестве выдающегося русского писателя Виктора Астафьева. Роман «Прокляты и убиты» — итог многолетних размышлений и одно из самых драматичных, трагических и правдивых повествований о войне как «преступлении против разума». Пронзительная откровенность писателя, его бескомпромиссное нежелание скрывать «неудобные» факты и приукрашивать суровую правду, предавая собственные воспоминания и память павших, завоевали произведениям Астафьева любовь миллионов читателей.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Р-с)6-44

Литературно-художественное издание

ВИКТОР ПЕТРОВИЧ АСТАФЬЕВ
ПРОКЛЯТЫ И УБИТЫ

Ответственный редактор Анна Щеникова-Архарова

Художественный редактор Валерий Гореликов

Технический редактор Татьяна Раткевич

Компьютерная верстка Ирины Варламовой

Корректоры Елена Шнитникова, Анна Быстрова

Главный редактор Александр Жикаренцев

Подписано в печать 05.09.2018. Формат издания 75 × 100^{1/32}.
Печать офсетная. Тираж 3000 экз. Усл. печ. л. 36,66 Заказ №

Знак информационной продукции
(Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.):

18+

ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“» —
обладатель товарного знака АЗБУКА®
115093, г. Москва, ул. Павловская, д. 7, эт. 2, пом. III, ком. № 1.

Филиал ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»
в Санкт-Петербурге

191123, г. Санкт-Петербург, Воскресенская наб., д. 12, лит. А

ЧП «Издательство „Махаон-Украина“»

04073, г. Киев, Московский пр., д. 6 (2-й этаж)

Отпечатано в соответствии с предоставленными материалами
в ООО «ИПК Парето-Принт».

170546, Тверская область, Промышленная зона Боровлево-1,
комплекс № 3А.

www.pareto-print.ru



A-VAK-28786-04-R

Издательская Группа «Азбука-Аттикус»

В состав Издательской Группы «Азбука-Аттикус» входят известнейшие российские издательства: «Азбука», «Махаон», «Иностранка», «КоЛибри». Наши книги — это русская и зарубежная классика, современная отечественная и переводная художественная литература, детективы, фэнтези, фантастика, non-fiction, художественные и развивающие книги для детей, иллюстрированные энциклопедии по всем отраслям знаний, историко-биографические издания. Узнать подробнее о наших сериях и новинках вы можете на сайте Издательской Группы «Азбука-Аттикус»

<http://www.atticus-group.ru/>

Здесь же вы можете прочесть отрывки из новых книг, узнать о различных мероприятиях и акциях, а также заказать наши книги через интернет-магазины.

ПО ВОПРОСАМ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
ОБРАЩАЙТЕСЬ:

В Москве:

ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»

Тел.: (495) 933-76-01,

факс: (495) 933-76-19

e-mail: sales@atticus-group.ru;

info@azbooka-m.ru

В Санкт-Петербурге:

Филиал ООО

«Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»

Тел.: (812) 327-04-55,

факс: (812) 327-01-60

e-mail: trade@azbooka.spb.ru

В Киеве:

ЧП «Издательство „Махаон-Украина“»

Тел./факс: (044) 490-99-01

e-mail: sale@machaon.kiev.ua

Информация о новинках и планах на сайтах:

www.azbooka.ru,

www.atticus-group.ru

Информация по вопросам приема рукописей

и творческого сотрудничества

размещена по адресу:

www.azbooka.ru/new_authors/